

Журнал «Рец»

№ 59, август 2009

Прогулка

Выпускающий редактор: Василий Бородин

Предисловие	3
Фаина Гримберг. КАРТИНЫ. Стихотворение	4
Алла Горбунова. Стихотворения	
Екатерина Горлина. Живопись	9
Юлия Тишковская. Стихотворения	13
Юлия Тишковская. Фотографии	17
Екатерина Завершнева. Солнце неспящих. Стихотворения	19
Екатерина Завершнева. Квартира на Васильевском острове. Рассказ	22
Павел Настин. Стихотворения	30
Павел Настин. Фотографии	31
Сергей Чегра. Стихотворения	35
Кира Фрегер. Фотографии	38
Алексей Афонин. Стихотворения	42
Гали-Дана Зингер. Фотографии	50
Игорь Бобырев. Стихотворения	52
Алексей Порвин. Стихотворения	53
Евгения Риц. Стихотворения	59
Юлия Сопина. Живопись	63
Данил Файзов. «уточни а то ничего не понял». Стихотворение	67
Ирина Максимова. «Марта и Мартин». Стихотворение	68
Анастасия Афанасьева. «Как это можно вытерпеть? – первому снится».	
Стихотворение	70
Oh gemanar	71

Выпускающий редактор: Василий Бородин. Верстка и дизайн: Ирина Максимова. Координатор проекта: Павел Настин. Все права принадлежат авторам опубликованных материалов.

Все материалы публикуются с личного согласия авторов.

Человек живёт на своей улице; что-то в небе (чуть темнеет обычная белизна, и в соседнем районе по-разному удивляются солнцу — очень резкому, потустороннему после косого дождя (шёл минуту, а целый день ждали); кроны старых деревьев совсем заслоняют какой-нибудь вертолёт; иногда он — с пожарной бадьёй, очень маленькой по сравнению: только птицы летят).

Человек умел вглядываться — по часу — в студенческую толпу, всех подряд принимал за возлюбленную.

Есть крапивницы и капустницы; в позапрошлом году — (почти в центре Москвы) на одном сером дереве — дятел и поползень. На церковном дворе у могилы священника груша (дерево): два котёнка, пятнистый и серый, и следы всего солнца на известняке.

Теперь новые кошки-подростки ловят этих капустниц: вжимаются и косятся.

И вот, в общем, стихи. И картины, и проза, и фотографии!

КАРТИНЫ

Такие разные привычные хрестоматийные примеры...

Зачем-то люди любят их,

толпятся перед ними...

Но, может быть, скучают,

пустоту неловкую тая...

Одна картина в Лувре...

Картина испанского художника Риберы...

Перед ней никто не толпится...

и это моя картина...

самая моя...

Люблю тебя...

Зачем никто не знает?...

Пусть знают все...

Моя картина...

моя...

Не всякий знает, понимает всю её прекрасность...

И восхищаться ею

обязательности нет...

Она — моя...

Нет, нет, не так...

она мне — сердце...

всё она моё...

Она — моих стихов, моей души портрет...

И ты стоишь среди других людей,

и скромный и взыскательный ты смотришь на нее...

Она загадочная...

Низкий-низкий горизонт...

И пасмурность солнечная,

привычная хмурость природы...

И мальчик-подросток хромой и больной,

приземистый простолюдин,

в мешковатой одежде калека...

У него клочок бумаги,

на котором написано, что он просит милостыню...

Наверное, он говорить не может;

немой...

Только написаны его слова...

Но как величественно его поставил художник...

Странное, страшное какое,

мучительное горестное величие человека...

Я жива!...

Зубы его неровные...

```
темная одежда с чужого плеча...
Только он высокий и ясный;
А все вокруг, в природе, —
в оттенках коричневого...
всё низко и зыбко...
Он улыбается;
но не потому что хочет, а потому что судорога...
Это улыбка спастического паралича...
И всё-таки, всё-таки
это отчаянная и энергическая улыбка!..
Это улыбка!..
А время увлекает нас,
и мы почти уже летим —
быстрее и быстрее...
Ты в небе голубом цветок,
мой мак, тюльпан;
стою обыденная на земле,
а ты взлетаешь молодой,
мой праздничный;
твою ладонь
прижму к груди, как будто маленький листок бумажный,
где самый лучший,
только что рождённый стих,...
И пусть мои стихи такими будут —
Риберина картина —
в бесконечной стихотворной галерее...
И люди неслучайные пусть любят их...
И пусть не так уж много будет! этих глядящих и вчитывающихся глаз...
Как будто бы уже слышу издалека эти свои стихотворные слова,
произносимые сливающимися родными неведомы-
ми голосами...
А и люблю тебя такого, как сейчас, —
измученного,
и с этими сильно поредевшими волосами...
Ты знаешь, мы бессмертные...
Всё для нашего бессмертия готово...
И всё равно я буду сомневаться и не верить...
И всегда чувствовать себя перед концом...
А я люблю тебя такого, как сейчас, —
измученно-худого,
с поредевшими волосами,
```

и с этим светлым улыбающимся молодым лицом...

```
радуга, запечатлённая на асфальте
в лужах бензина,
попевка трамвая,
в грязном снегу —
ледяная,
   лубяная отчизна моя.
в соли, просыпанной в снег,
в просветлении редком
помраченного града
улыбается детски
   больная отчизна моя.
кошки, закатные кошки,
мяучат, как мучат, — что молвят?
о, эти шины и сапоги,
тротуары и трассы, развязки,
дорожные щиты, магазины-ангары, автозаправки!
это мистерия города,
гул в проводах окраин.
троллейбусы и такси,
бутики и кофейни,
метрополитен, — бесконечное мельтешенье!
смертельно-прекрасен,
неповторим
хрустальный сиреневый дым.
и горечь сигареты на губах
слизав, я поскользнулся на путях
трамвайных.
мне хотелось, что я жив
вкусить сколь было сил,
и я губу до крови закусил,
окурком руку, зубы сжав, прижёг,
но было мало, я хотел
взять больше, чем я мог
сквозистой силы, ветра, голосов
о чём-то, с хрипотцой,
лежать на рельсах, запрокинув голову,
вдвоём с тобой,
в прусской военной рубашке из сэконд-хэнда,
(обязательно в ней!),
но горечь на губах
не тронет иней:
это весна! —
```

```
весна! весна! так херувимы поют. весна красна! — так невесомо-серьёзно! как белый мёд, как материны слёзы, — светло льётся в отчизну мою.
```

пустыри у залива.

двое на крыше высотки в мягком свете позднего солнца среди новостроек. двое на крыше вдыхают марихуану,

упоительную свободу,

юго-западный ветер с залива, а внизу корабли городских окраин уходят в воду, шевелятся в песке пустыря консервные банки, рваные ботинки, пивные бутылки, презервативы. ветер с залива треплет юноше длинные волосы, красные пряди девушки не закрывают выбритые виски, и всё, что внизу — рукой подать, над заливом садится солнце, и нет ничего белее татуированной кожи

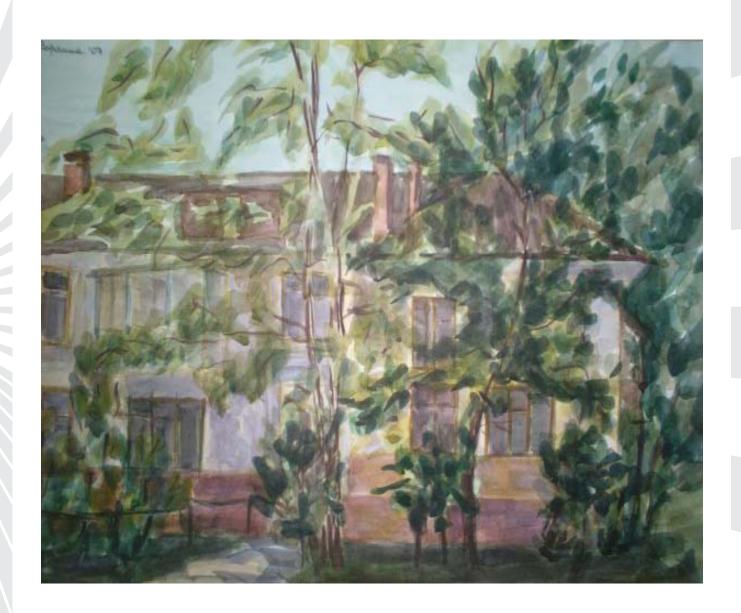
её обнажённой и полудетской руки.

двое на крыше — ангелы пустырей и новостроек, канализации, свалок, помоек, на сверкающих крыльях слетают с крыши и исчезают в небе. и, далеки, перекликаются огоньки кораблей,

спят у мола чайки, в норах — складские мыши, и кораблям отвечают радиомаяки.

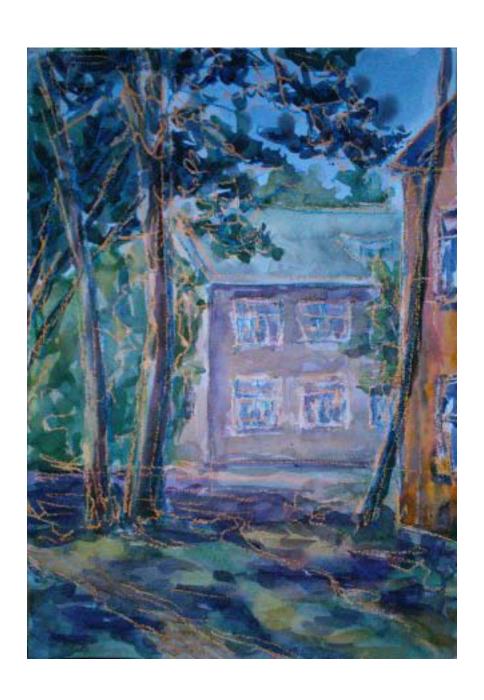
(нарния)

...Где вода морская не солона, Вот там, мой дружок, Найдёшь ты Восток, Самый восточный Восток. серебробородый старик, одетый в серебряное руно, волосами касаясь земли, пел утреннюю песню, запомнить её не смогли, но было почти всё равно. восходя, пробежало по каменным креслам спящих лордов и каменному ножу непомерно крупное солнце, белоснежные птицы спорхнули из его раскроённого сердца клевать виноград, абрикосы, гранаты на трапезе каменного стола, и одна из них в клюве огненную ягоду для старика принесла. старик — звезда, с каждой ягодой он молодеет, покуда не станет младенцем и снова взойдёт с восточного края земли, где самые воды светлеют, и проходит начало дороги новорождённых звёзд, ибо здесь начинается край света, последнее море, где самые воды светлеют, как жидкое солнце, и крепче вина, в них нет больше соли, и жителей моря страна в башнях и шпилях, в ста футах от киля в хрустальном подводном просторе видна. ибо здесь начинается край света, последнее море, где все руки и лица начинают светиться, блестят глаза, даже гафельный парус блестит, как стеклярус, рассыпанный морем и ветром на палубе и парусах. это плавание уже за пределами мира, в озере лилий, в благоуханье прохлады чуть тронутых золотом, между лодкой и небом — мерцающая стена это или радужная волна, словно край водопада, стоит горизонтом. и за волной и солнцем — музыка, как сквозь дверцу из страны за краем света, на мгновенье и навсегда, совсем не печальная, но разрывается сердце. прощай, Нарния! мы идём вброд, и всё мельче вода...









(T.M.)

и с вершины этого дня безымянными журавлями мы тянемся в сторону рая, норки собственных тел безукоризненно волоча. кто-то нас остановит и спросит: простите, далеко ли до ада? мы ответим: не знаем, направляемся в рай. значит, эта дорога не ваша, а ваша — другая. поверните направо и там, за углом это ад. мы сказали: спасибо, и с вершины этого дня поменялась цепочка одна на другую. муравьиная стая за угол заходит, звеня. в этом мире углов не бывает неверных сторон. правы все. кто идет тот приходит. а куда — узнаем настолько потом, что —

не скроем.

за 5 минут до посадки на неровной поверхности твоих отрицательных ответов понимаю, что угадала. не врут только черепахи без панцирей открытым сердцем, задыхаясь колючим воздухом, не зная, как сказать правильно, куда наклеить пластырь, чтоб мир не так жал. в сторону выпуска шасси из иллюминатора смотрит Шива. смеется. зрители медленно хлопают, всем спасибо. точное время прилета еще не зафиксировано, но уже помнится как потеря какого-то незаметного счастья, победа, бесчестье, резкое снятие пластыря. небесное попустительство

как невмешательство

так они постояли какое-то время, а потом разошлись. одному было направо, другому — налево. включали чай, пили свет в доме на самом краю земли, в квартире на дне неба. и каждый думал о том, чтобы съехать. сколько можно. плата растет каждый месяц. хозяин звонит по ночам, говорит: приготовьте деньги, завтра приеду

так они были вместе какое-то время, а потом разошлись. одному было в центр, другому — в конец ветки. запирали руки, грели комнаты в доме на самом краю сердца, в квартире на дне души. каждый думал: оставьте мне это, и больше не буду грешить. сколько можно. плата растет. хозяин опять звонил ночью, хотел спросить — помнят ли? но они не подняли, и завтра он не придет

а ты помнишь, как мы ходили за хлебом и думали, что если между людьми нет разницы, зачем же кого-то любить сильнее? ведь нет ничего, кроме неба. там строгий контроль, даже снимать кожу. что ты унесешь, куда положишь. и некогда выйти, некуда покурить. и так хочется взять что-то с собой, пронести контрабандой, выпросить: какие-нибудь осенние листья, самые лучшие письма, ребенка, плюющего кашу, пронести в десятую жизнь, выслужить, упрятать за кармы краешек. а ты говоришь не понадобится. не сподобимся. не разогнемся. не унесем. руки пустые качаются вот-вот настанет предстанем.

и, видишь, за хлебом уже не надо, —

все никак не кончается, — потому что он безначален

если бы остались только два слова

нет и да

самое прекрасное объяснение в любви

звучало бы:

да?

да!

а самый трудный отказ

уместился бы во внутреннем кармане

пальто

или демисезонной куртки

если бы остались только два слова

ничего бы не изменилось

по сути

как если бы не было слов вообще

ни пальто

ни куртки

ни смерти

дорога жизни

посв. моим бабушке и дедушке, Виноградовым Тамаре Васильевне и Виктору Геннадьевичу

два раза в день

отзываться,

говорить: все в порядке,

нет поводов для причин

переживать за нас.

приезжать

обещается чаще,

но получается как-то иначе.

получается как получается.

новости, которые не меняются.

похоже на инфаркт.

хлеб.

ходили в пятерочку.

совет ветеранов

выдал путевку.

только и есть у нас —

вы, нечастые.

деньги с пенсии —

это вам

на все праздники

у дверей

прощаться навсегда.

по дороге к машине

плакать,

беречь

как надо

и как не надо.

равноценная

какому-то простому раю

и непонятному аду,

дорога

из кухни в комнату,

из коридора в ванную,

на которой мы все

стоим и смотрим:

какие-то дети

и непонятные внуки и правнуки.

очень близко,

почти что рядом

когда кажется, что уходишь, —

остаешься.

на большой земле

много хлеба, и весь - даром.

получаешь как

получается.

какая-то непонятная

простая смерть

очень близко,

почти что рядом.

но вы уходите от нее

из кухни в комнату,

из коридора в ванную

дорогой жизни

во все праздники,

принимая позывные

хлебного рая

и инфарктного ада

на одной волне

с нашими навестившими голосами

тот же и спас, кто теперь пасет. в рот не смотрит, а с самого дна как зачерпнет, и — на свет, чтоб просохло. что там, живое, бьется, по делам воздается, крестится, просит оставить, поставить обратно в стадо. пересчитать нас всех, кажется, и бессониц не хватит, и калькуляторов. но это — неправда. ведь каждая из овец на его счету, который нам видится лицевым. и что ни проявится на свету, он не умоет рук, и мы останемся чистыми





СОЛНЦЕ НЕСПЯЩИХ

разливами рек
по всей ширине
ветер беспрепятственно
равнинами идет раскатами
дальними грозами
пригибая к земле

сила без обхвата алая бесконечная цепью залегает трава все распорото высыпано в ветер расстреляно

злая молодость раскуривает свой табак бросает за спину гаснет в бурьяне пятиконечной звездочкой упавшей шапкой буденновкой

где-то в памяти зацепилось уцелело

лодочкой дрожит блесна заплаканная монетка

ниже по течению едва различим в вечернем тумане солнечный плес

перерастая себя уходит в небо соцветиями метелками сеется в ночь песчаный ветер несущий шепот косы в соснах

полосы тепла раздвоены как рукава млечного пути остывающий песок на отмели розовеет

неглубокое слоистое дыхание моря

короткая ночь распалась между двумя ударами сердца

на склоне когда нас уже нет ничто не шелохнется не изменится редкие облака в перевернутых зрачках моря внизу

мы снова стали поворотом неба осыпью мелкими цветами горечавки тенью ветра тенью самих себя каменистым плоскогорьем гребнями тишины

ночь сеет нас заново море подступает к запекшимся губам раненый к раненому потому что найдут только вместе

наши тела
пещерные города
крошащиеся от ветра
каменная смола
высолы на щеках
руки корни
на краю обрыва
ягоды кизила
рассеченная бровь
терновник
эхо

на склоне обнявшись молчим не замечая что нас уже нет

долгое пребывание неразделимых в темноте

пещеры тел души висящие вниз головой белые бабочки обсыпанные мучнистой росой

ресницы окаймленные светом

видеть все и не отзываться пока душа и тело расслаиваются навсегда

закрыли глаза чтобы узнать внутренний свет заглянуть в колодец упирающийся другим концом в звезлное небо

чтобы ночь накренилась и ее гигантское колесо пошло наверх

чтобы мы раскачиваясь лицом к лицу в деревянной бадье молчания поплыли как новобрачные к началу своей

истории

Екатерина Завершнева

21 {содержание}

но здесь
истории нет
неуничтожимое лето
растет сквозь пальцы
в его дыхании
растрескиваются
все семена
способные
выбросить из себя
еще одну жизнь

утопленные в земле поднимемся взойдем новой пшеницей под солнцем неспящих

солнце неспящих немилосердное над головами

надгробия выгоревшая трава теперь нас никто не услышит

мертвые устьица раскрываются сотнями ртов муравьиные семьи ищут своих в раскаленном песке

безумие думать что мы устоим живые среди мертвых

что будем помнить когда другие забудут

растерзанные по камням в пыль в боль в свет

КВАРТИРА НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ

Об этом мечтает любой москвич, если он вообще умеет мечтать.

Родственники в Питере.

Вита и предположить не могла, что на нее свалится такое счастье. Квартира в старом доме, до центра рукой подать. Набережные, залитые водой, разведенные мосты, две недели в конце июня, сессия сдана, дома ни о чем ни спрашивают, потому что мы только что поженились. Махнем в Питер, Москва подождет. Что скажешь?

Навестите тетю Тамару, сказала Людмила Петровна, ей там в больнице, должно быть, очень одиноко. Генрих у нее редко бывает. И не тащите с собой конфет, ей нельзя. Лучше хорошую книжку. Хотя вы все равно перепутаете.

Мама, мы уже большие, ответил Павел, разберемся.

Конечно, они уехали и не взяли зонтик, и термос тоже забыли.

До больших им еще расти и расти. Большие на их месте сначала пошли бы в вагон-ресторан и съели какую-нибудь котлету по-киевски, а потом страдали бы всю ночь от соседского храпа и интеллигентно читали бы газету «Аргументы и факты», потому что других не продают. Большие, выйдя из вагона, открыли бы карту города, чтобы найти близлежащее метро, а потом промокли бы, и не раз, чтобы в конце концов купить еще один ненужный зонтик. Дальше совсем неинтересно. Три дня в командировке и домой. Многообещающие «бы» в прошлом. Здравствуй, Москва, город героев, мечтателей и ученых. Первым делом — специально для мечтателей — товарищеский локоть

(удивительно, почему в Питере никто не толкается даже на Московском вокзале — или это только кажется?)

клетчатые баулы, сумки-тележки, бабульки, таджики, продавцы пирожков

потом всех без разбора засасывает воронка метро, и дальше — нет, не тишина, а грохот подвижн ω х составов

и дома тоже, потому что окна на Ленинградское шоссе, а Питера нет и никогда не было.

Павел и Вита взяли билеты в общий вагон, покрутились пару часов в городе и сели в поезд. Ночью они слушали в два наушника какую-то глубокомысленную ерунду — *возьми меня к реке* — но им нравилось

хотя если переставить слова местами, общий смысл мессиджа совершенно не изменится связанные проводами как два заговорщика

под утро сменили батарейку

слова не запоминались, и только названия станций, внезапно сделавшиеся значительными, отмечали каждый новый час вдвоем

рядом громко храпел офисного вида дяденька, обняв свой кейс, была еще одна слепоглухонемая парочка, а остальных они не запомнили

иногда дремали, положив голову на колени, на свернутый вчетверо свитер, возможно, единственный. Потом они тоже промокли, в первый же вечер, и были ужасно рады этому обстоятельству. Впрочем, если бы в тот день светило солнце, они и ему были бы ужасно рады. Никакой логики или физиологии, просто новый день, мокрые голуби, кафе на старом Невском, у стойки бара горячая пицца, кофе, двойная порция взбитых сливок — ты растолствешь — и не

подумаю — точно тебе говорю — ну и что тогда — а тогда я выселю тебя с кровати на пол — это я выселю тебя с пола на кровать

но от перестановки слов смысл все равно не менялся, карту они потеряли, пришлось звонить маме, а она сразу начала про зонтик, и мы смеялись, а дождь шпарил снаружи по стенкам телефонной будки на проспекте ни души и только под козырьками парадных в магазинах и будках кошки собаки люди

вообще Васильевский остров кошек, а вот отсюда к северу — район собак, они как-то поделили между собой

ничего особенно смешного мама не сказала, продиктовала адрес и добавила, что напротив должна находиться музей-квартира Ивана Петровича Павлова

никакой физиологии, я же тебе говорю, и перестань смеяться, лопнешь

вас, между прочим, туда не пустят, потому что там только по записи и для организованных групп, продолжала мама

наша группа становилась все менее организованной почему вы до сих пор не у Генриха, он, наверное, ждет мама, у нас карточка заканчивается, пока, целую целую и снова целую и пусть смотрят если им так нравится пока не кончится дождь и кошки с собаками не разойдутся по своим домам островам музеям и квартирам и мы пойдем наконец к Генриху который, наверное, ждет

По дороге на Виту внезапно напало хозяйственно-продовольственное оживление. Вспомнив наказ Людмилы Петровны, она набрала в магазине всякой всячины, которую ест среднестатистический мужчина, две бутылки пива и, конечно, коробку пирожных. Смысл поездки в Питер был, между прочим, и в этом тоже. Вообще-то в городе ей нравилось все, кроме метро. Спустившись под землю и оглядев станцию «Площадь Восстания», она сделалась очень серьезная и заявила: «Здесь надо все разрушить». Павел прыснул, но она так же серьезно вошла в вагон, устроилась на свободном месте, положила на колени коробку с пирожными и сосредоточилась на ней. Очевидно, в коробке был объект, обладающий невероятным животным магнетизмом. Павел подождал немного, потом наклонился к ней и спросил:

- Кстати, не хочешь ли узнать, к кому мы едем?
- В самом деле. Хочу, конечно. Например, почему Генрих. Это что, имя?
- Представь себе. Тетя Тамара выбирала его, очевидно, движимая каким-то высоким порывом. Теперь уже неудобно спрашивать, что она в тот момент читала и кем восхищалась. Она искусствовед.
 - Понятно. А жена у него есть?
 - Целых три и все бывшие.
- Так-так. И еще три в чулане. Анна и две Екатерины. Генрих случайно не из династии Тюдоров или, как его там, Плантагенетов?

- Ах, какие мы эрудированные. Все как раз наоборот. Генрих несчастный муж. Первая жена бросила его с маленьким ребенком на руках, прямо в Америке, без денег и без работы. Вторая и третья, как он сам любит повторять, особого значения не имели.
 - Он жил в Америке?
- Давно, еще когда был студентом. Потом вернулся сюда. Здесь у него тоже не сложилось. Сын Валерка с ним не разговаривает, живет отдельно; Генрих при маме, сам ничего не умеет, все она. А ей, между прочим, за восемьдесят. Полным именем его называет только собственная мать, ну и моя иногда, а для прочих он Генка. Свои таланты, коим несть числа, Генка пропил, в люди не вышел, сидит безвылазно в квартире, ругает советскую власть на все корки, иногда берет на дом работу, печатает, переводит. Примерно так.
 - Насчет «пропил» мама говорит?
- Опять не угадала. Его слова. Генрих был неплохим кинооператором, но на широкий экран не пробился, снимал что-то документальное, а после возвращения оттуда автоматически попал в черный список. Ну и пошло-поехало.
 - Слушай, а он тебе кем вообще приходится?
- Да никем. Мама познакомилась с тетей Тамарой, когда меня еще и в проекте не было. Родители поехали в Питер, вот как мы с тобой. Что-то у них не вышло с гостиницей, и они провели две ночи на лавочках, да-да, история повторяется, и уже собрались менять билеты, но на вокзале их подобрала добрая фея, которая искала жильцов в свободную комнату. Сели в метро, разговорились. Дело кончилось тем, что она привела их к себе в дом, а денег не взяла. Раньше подобное случалось, времена другие. Пока были молоды, дружили семьями, встречались каждый год. Сейчас мама иногда приезжает, если помочь чем-то надо, а так все больше посылки да переводы, на Новый год, на восьмое марта. Ну вот, мы пришли.

Это была самая настоящая питерская квартира, с газовой колонкой и крошечной кухней, с высоченными потолками и окнами, которые превращали естественное освещение в сверхъестественное, поэтому все неуместное и возвышенное, включая имя «Генрих», становилось обыденным, и наоборот. Генрих оказался не только симпатичным, но и стеснительным. Он долго отказывался идти ужинать, а потом без конца повторял «спасибо, очень вкусно», хотя на ужин у них была картошка с сосисками и наспех наструганный салат. В этом было что-то одновременно благородное и суетливое, как будто большой пес, сидевший на цепи несколько дней в полном одиночестве, наконец дождался хозяев и получил ведро настоящей собачьей еды. Чокнувшись с ними пивом и съев три пирожных, Генрих скрылся в своей комнате, чтобы «не мешать молодым», сразу же включил телевизор и уснул, наверное, потому что телевизор тарахтел до самого утра и молодые могли бы без труда провести утреннюю политинформацию, если родина попросила бы их об этом.

Посмотри, ахнула Вита, открывая дверь в комнату, ты видел когда-нибудь что-то подобное? Посреди комнаты стояла кровать, застеленная белым кружевным покрывалом. Настоящая постель для принцессы на горошине. Накрахмаленный марлевый балдахин, ниспадавший волнами до самого пола, был заимствован из другой сказки — «Белоснежка и семь гномов». Если я не выйду к завтраку вся избитая и измученная, мне будет очень стыдно, и тебе тоже, сказала Вита. Павел был

впечатлен. Признайся, именно об этом ты мечтала все свое пионерское детство. Лучше поздно, чем никогда.

Хохоча и зажимая друг другу рты, Вита и Павел повалились на кровать. С книжной полки на них добродушно взирал портрет хозяина в шляпе и пестром шейном платке, эффектно завязанном на манер героев классического вестерна. Он дико похож на Джона Уэйна, — шепнул Павел, — и очень этим гордится. А кто такой Джон Уэйн? — спросила Вита. Эх ты, деревня, потом расскажу. Тут нам письмо. Тетя Тамара постаралась не на шутку. Даже неловко как-то. Съездим к ней завтра?

Письмо лежало на стопке чистого белья. Хозяйка дома высокопарно приветствовала в своем скромном жилище прекрасную миледи и ее трех мушкетеров и выражала надежду на то, что их пребывание в северной столице будет бесконечно приятным и разнообразным. Вита оторопело глядела в текст, ничего не понимая — какие мушкетеры, какая миледи. Кто кого казнить собирается?

Павел смущенно потер кончик носа:

- Вообще-то поначалу планировалось, что в командировку еду я, мой братец и Толян. Потом оказалось, что только я.
 - В какую командировку?
- Виток, не кипятись. Завтра на один день исчезну, а потом я твой. Сходи куда-нибудь, да хоть бы и с Геной.
- Непременно. Рада возможности посетить Эрмитаж без тебя, чтобы не выслушивать одни и те же глупые вопросы о том, кто это такой, и чего это он тут стоит, и что хотел сказать художник.
 - Ну и прекрасно. Ты знаешь, я не любитель.
 - Знаю. А как же тетя Тамара?
 - Ох, черт. Завтра никак. Послезавтра.

Ходим с тобой ходим, а попадаем всегда в Почтамтский переулок, почему так?

Потому что нравится. Теперь буду знать, что он Почтамтский.

А раньше не знала?

Наверное, знала, но забыла. Я забываю название сразу же, как только услышу. И это правильно. Мы же договорились — по карте не ходить, на таблички не глазеть. Хочу сохранить для себя город без улиц

воздушное пространство без разметки
возвращаться сюда не пересекая границ
заходить во дворы и смотреть вверх
в случайный квадрат моря
где каждая волна не похожа на другую
и все же ее нет
мы считаем волны но где начинается
и где заканчивается предмет нашего счета
помнишь я тебе говорила — море нельзя увидеть
здесь то же самое — нет ни города ни улиц а только квадраты окон
отражающих небо и небо

и если это колодцы то они похожи на подзорную трубу и свет проходит насквозь нам кажется что мы с той стороны откуда все выглядит более значительным а на самом деле мы любопытные рыбы прильнувшие к иллюминатору и кто-то смотрит на нас пока мы стоим на дне питерского колодца я чувствую на себе этот взгляд каждый раз когда поднимаю голову лицо становится бледным почти невидимым и вместе с тем отчетливым как волна или след моторной лодки в акватории финского залива

Тетя Тамара вышла в холл точно к шести.

Вита ожидала увидеть старушку в ситцевом халатике и стоптанных тапочках, укутанную в оренбургский пуховый платок. Ничего подобного. Тамара оказалась стройной женщиной в брюках и с тростью в руке. Вита буквально остолбенела. Она никогда не видела такой красивой — иначе не скажешь — девушки за восемьдесят. Черные, молодые глаза

как патефонная пластинка, как первая любовь, которая не отпускает и надо бы уже прекратить этот поток банальностей потому что не работает и невежливо молчать, когда к тебе обращаются, сказал бы Павел он всегда так говорит, когда они ссорятся.

Вита, какое чудесное имя. У меня была институтская подруга Вита, которая распределилась кудато в Читу или Воркуту и пропала. А я осталась. Вы познакомились с Генрихом? Правда, он совершенно беспомощный? Я рада, что вы поживете у нас. Этот дом всегда в вашем распоряжении

и дальше точно по тексту письма о скромном жилище

и давайте не будем на медицинские темы, это не предмет для разговора

а лучше расскажите где были и что видели

Ее глаза говорили то же самое и совсем другое. Вита не могла отделаться от ощущения, что на месте тети Тамары молодая девушка не отрываясь смотрит прямо в лицо и молчит

несбывшееся желание невыполнимая просьба

или письмо к человеку, которого больше нет

Внезапно на полуслове она замолчала и с той же любезной улыбкой

вам пора да и мне тоже

апельсины отдам нашим старушкам мне сейчас нельзя я на диэте

а вообще-то у меня все есть

опираясь на палочку поднялась и не попрощавшись скрылась в лифте

или это стемнело за окном

время вышло гардероб закрывается

приходите завтра в шесть часов вечера

придете?

Успели привыкнуть к вечерним посиделкам на кухне, когда Генрих, не в силах больше скрываться в своей комнате, приносил еще одну табуретку, садился за стол и в ожидании ужина развивал свою любимую тему о том, что из этой страны надо делать ноги, и чем скорей, тем лучше. Распробовали местное пиво и пришли к компромиссу, что оно не хуже и не лучше московского. И все-таки это неверно, добавлял Генрих, хотя я допускаю, что летом почти все сорта пива одинаково прекрасны. Пару раз говорили за жизнь, в том числе семейную, но далеко не заходили. Посмотрели кино с Джоном Уэйном, после первой же серьезной перестрелки Вита позорно заснула и ее пришлось нести в будуар на руках, и стаскивать джинсы и прочую ерунду, а вот линзы из глаз вынуть не удалось, и она проснулась как ежик в тумане, и Павел водил ее по городу за руку, и это тоже было хорошо. И вот пожалуйста — пора уезжать.

Прямо перед отъездом они поссорились.

Ты странная. Ты очень странная, с этими своими закидонами, незнанием улиц, любовью к лебяжьим канавкам, фабричной архитектуре и прочая и прочая. И знаешь, твоя питеромания не оригинальна, это распространенная болезнь вроде OP3 или нет, не так — это гормональное явление вроде переходного возраста. Ты не замечала — как только человеку стукнет 16 или 18 и он получит свободу передвижений, он сразу же едет в Питер и спит там на лавочках или под кустом сирени, или целуется на мосту / под мостом, или пьет кофе на каждом углу, в общем, слоняется без дела по улицам с весьма характерным слегка дебильным выражением лица. И конечно без зонтика, зачем ему этот аксессуар. А на тех, кто лишен характерного выражения, смотрит искоса и при всяком удобном случае обзывается разными словечками типа «офисный планктон». Тем более если планктон не желает идти смотреть шедевры. Тогда он вообще перестает быть объектом. Его просто нет. Долго ты молчать собираешься?

Хочешь, я скажу, что с тобой происходит? Со мной тоже такое было, в прошлом году. В один прекрасный день город закрывается и больше не впускает. Нет, конечно, ты можешь купить билет, и сесть в поезд, и выйти на Московском вокзале, и целыми днями торчать в колодцах, лазить по крышам, то есть вести себя как ни в чем не бывало, но это будет уже не то. У каждой улицы обнаруживается название, у шедевров — авторы. Дома увешаны мемориальными табличками, и ты идешь по кладбищу своих шестнадцати лет, и на углах город больше не раскрывается, а схлопывается

твою скамейку снесли и сирень выпололи, кофе все больше растворимый, ветер задувает между пуговицами, перчатки не греют, а раньше не замечал. Раз — и ты уже вырос из своего Питера. Ты ему больше не нужен, а нужны новые малолетки с их надеждами и симулированной бессонницей. Но потом оказывается, что есть другой Питер. Неяркий, холодный, одинокий. Физиономия у него неприветливая, характерное выражение отсутствует. Темнеет рано. Люди на работу идут, и эти лампы дневного света... В общем, поначалу даже пугаешься. А ты подожди немного, не дрейфь. Он сам тебя найдет. И давай уже, кончай реветь, и забудь, что я тебе сказал, а то начнутся разговоры о смысле жизни. Сама знаешь, я не любитель. Иди, скажи Генриху до свидания. И на Москву.

Тебе посылка, сказала Людмила Петровна. Из Ленинграда (она говорила по-старому и переучиваться на Санкт-Петербург не желала).

Последний раз Вита получила посылку лет десять назад, от бабушки. Бабушка вела уроки труда в школе и могла сделать все что угодно из рулончика цветной бумаги, фольги и проволоки. Ее карнавальные костюмы по-хорошему надо было не на ребенка надевать, а сразу в театральный музей им. Бахрушина. Вита навсегда запомнила последний подарок, потому что на нее не налезла шапочка белки. Ярко-рыжая, пушистая, уши с кисточками. В ящике были еще платье и хвост, который прекрасно налезал куда надо, но без шапки не имел никакого смысла. Мама сострила что-то насчет большого ума, но неудачно. Наплакавшись вволю, Вита пошла на елку в обычном праздничном платье, расшитом блестками, как у всех девчонок. Но от посылок она до сих пор ждала только чудес.

В бумажном конверте оказалась книга и записка. Больше ничего.

«Дорогая Вита!

Спасибо за весточку и за стихи. Признаться, не ожидал.

И ты от меня не жди, пожалуйста, никаких оценок. Я мало что смыслю в поэзии. Всю жизнь я любил только старое американское кино и поэтому, наверное, утратил вкус к полутонам и обертонам. Хотя как бывший американец могу кое-чем быть тебе полезен.

История этой книжки, которую ты сейчас держишь в руках, столь же глупа, как и история моей жизни. Я оказался на вечере случайно (жена притащила), толком не понимал, кто передо мной, о чем он говорит. Наверное, скучал в этом огромном зале, доверху набитом студентамифилологами. Моя жена тоже была филологом. Прости, если слово «тоже» тебя огорчило. Если бы я понимал хоть что-то в литературе, я был бы счастливейшим человеком. А так все напрасно.

В общем, долгое время эта книжка была для меня всем. А потом я сделался старым и ворчливым, и книжкам верить перестал. Пускай она останется у тебя, на память.

Желаю тебе, милая хорошая девочка, совсем другой жизни.

Передавай привет Павлу и Людмиле Петровне.

Надеюсь когда-нибудь увидеть вас снова.

Генрих».

Вита перечитала письмо, потом еще раз. Чувство досады не исчезало. Она отругала себя, но это не помогло. Письмо было маленьким, небрежным, может быть, даже снисходительным – и ни слова о ее переводах. Ожидала похвалы? Восторженного отзыва от, так сказать, носителя языка? Написала ему письмо о шести страницах, и не о чем-нибудь, а о главном. Чужому, можно сказать, человеку. А что если ты в него просто влюбилась, а? Почему бы и нет. Он о любимой жене, а ты взъелась. Осталось только расплакаться от злости. Не дождетесь, ваше величество.

Прижизненное издание, здесь такого не достать. Правда, я не очень люблю Фроста, он для меня простоват немного. И переводить его запаришься — короткие фразы, классические размеры, темы однообразные – снег, время, смерть. Для переводчиков постарше — самое оно. Лет через тридцать, когда мы с Пашей купим такие подушки, чтобы голова не падала и язык не вываливался во время сна, или начнем ездить в Питер в мягком вагоне, или хотя бы научимся чинно прогуливаться по набережной Мойки, вот тогда.

Вита повертела в руках книгу и поставила ее на полку, рядом с Уильямом Блэйком. В классики.

На похороны тети Тамары Вита решила не ездить. Паша ее с детства знал, ему полагается. А я кто такая? Она будет лежать в цветах, с закрытыми глазами. С закрытыми. Лучше останусь дома, фикус полью.

Павел позвонил на следующий день. Здесь такое делается. Теперь понятно, почему они маму вызвали. Генрих трубку не брал, а тетя Тамара как знала — оставила наш телефон соседям.

Гена мыл пол, поскользнулся, встать не смог. Апоплексический удар. В тот же день, что и Тамара. Пролежал в квартире трое суток, пришлось вскрывать дверь, но было поздно. Мама еле живая. Валерка был, с женой и сыном. На Гену не похож нисколько.

Ну ладно, ты там это, не плачь, я скоро буду.

В самом деле, у него в квартире всегда была удивительная чистота.

Вита вспомнила о книжке, которую с тех пор ни разу так и не открыла. Суперобложка была немного помята, на ней портрет автора, неудачный, чье-то вольное художество. Фотография размыта, растянута как бензиновое пятно в осенней луже

смятый рот, лицо морщинистая кора дерева

глаза сосновые сучки, слезящиеся смолой.

Генрих, если бы дожил до преклонных лет, мог стать таким.

Вита рассеянно листала книжку и думала о квартире на Васильевском острове. Не ночевать ей больше в постели принцессы. Придется вернуться к лавочкам и кустам сирени, или поддаться на уговоры мужа и снять номер в гостинице. За этими мыслями не было никакой прагматики. Только пустота на том месте, где когда-то был остров, а теперь снова море без берегов и разметки.

Постой-ка, он что-то писал о вечере, в той записке. Не может быть.

Черные, слегка выцветшие чернила, прямо под портретом — дата и подпись: *«January, 1962. R. Frost»*.

На улице шел снег, подробности исчезали, все становилось белым, одинаковым. Вита смотрела в окно и ни о чем не думала. Книга, квартира, скрещение улиц и линий жизни, прямых и пунктирных — все это, конечно, не было случайностью, но особого значения не имело. Внезапно она поняла, что на нее больше не смотрят. Наверху, с той стороны колодца, было тихо, снежно и безлюдно. Город плыл сквозь снег, таял, проявлялся и снова пропадал. Хорошо, что она осталась дома. Питер подождет до весны. Ей надо было для начала разобраться с Москвой.

[в центре всех городов]

фаду

С. Круглову

любовь и смерть как известно всем в этот час спящим на шиллерштрассе разделяет лишь слово

виктор цой продолжает свое на каждом бетонном заборе обращенном к путям нам сообщают об этом факте

каждый день он приходит домой когда темно молодой еще не седой каждый день в центре всех городов она ждет его лишь бы перрон остался

вагончик тронулся папа остался

да
я готов отдать все
за этот звонок
мама я долго ехал в метро
почему-то сквозь лес
ехал в центр было темно
сама знаешь как там бывает
невыносимо страшно
казалось абсолютно темно

а она она уже спит *там* +++

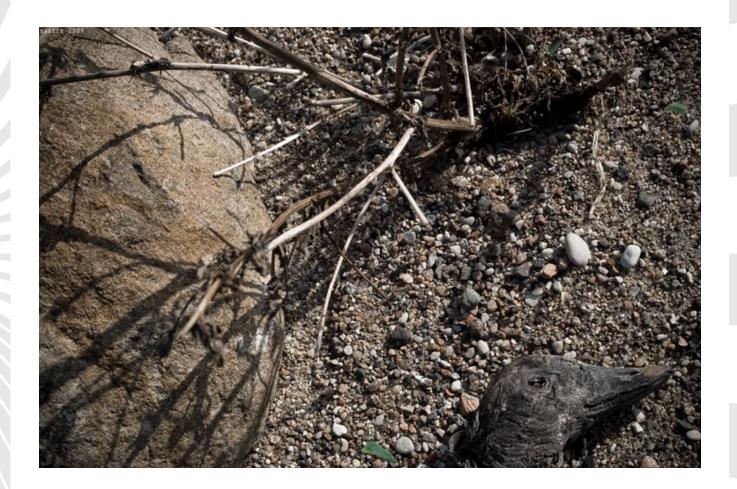
рвется свитер держат за уздечку параллельные ветви не хотят но болтают языками в неколокола что бессмысленнее оставь наутро когда вода престанет быть воздухом снежные яблоки в жертву каминный уголь яблоки рвутся с веток снится раздор и еще раздор снится во всей моей истории любви были яблоки был угольный дым не было лишнего солнца солнечного дня не было лишнего

как во сне в мою грудь
входит железный стержень
так и ты во мне прорастаешь
с каждой систолой
с каждым вдохом
сказано знать и верить
в эти занятия для безнадежных
стоять прорастать бояться

[необрезанные]

необрезанные деревья
поголовно пронумерованные в январе
с чужих слов
знали такие слова русского языка
так жгли что не донесли
молчали видели виды
скрывались под воротник от стыда
вещи стоят посреди имен
как корабельный лес
ждали он сам нам перезвонит
ждем
сам нам перезвонит









если мы будем стрелять они не выйдут на улицу они будут лежать в стене и бояться они захотят потеряться если мы выйдем на улицу они не будут стрелять мы будем стена и трава из стены мы будем как птицы если мы будем стрелять они ужаснутся они не появятся и зарастут мы будем отравленный воздух они не пойдут не посмеют если мы выйдем и встанем нагие мы будем как дети мы дети они не рискнут ужаснутся и не станут стрелять по живым если мы будем стрелять мы ощетинимся и они обязательно дрогнут никто не посмеет из них страшно и муторно умирать если мы выйдем на улицу если мы выйдем и будем если мы будем

мы думали о горькой смерти а смерть не думала о нас сквозь наши кости и созвездья смотрел её песчаный глаз и пожирал нас без причастья и ветхие кусты несчастья владели нами как капканы и плакали вокруг стаканы всё плавало в листве тоски слетало на волну доски и между всем и всем мы спали и пробуждаясь исчезали: везде светился дивный бог и изменить ничто не мог

земля ты повсеместно пролегла как тихая тетрадь и рябь стекла как вечное во мраке поселенье всё так ненастно и несчастно всё так темно как будто нет творенья мы кормим рвы отборным мертвецом певцом жнецом и кузнецом купцом и матерью с отцом всем бывшим молодым жильцом но как сурово медленно и зря идёт несметная кошмарная заря с небес свисают хмурые собаки густые ангелы немые бедолаги и сыплют резкий дождь

а там где кухонная брань стоит и подыхает мир ежесекундно и шапка водки по рукам гремит там Бог имея дикий вид палундра кричит и каменно глядит перед собой без памяти вращается покой немилосердное кругом сочится пенье всё так мучительно как будто нет творенья земля ты перевёртыш и подкидыш тебя не одолеть и нет чудес святые дети знают мир иначе заплачьте те, кто всё ещё не плачет земля ты сирота

всё так совсем, что только утешенье: мы спустимся отсюда в светлый мох и Бог и наши искажённые умы и Бог и лисы и невидимая тля и бедная и бедная земля и вся живая бедная земля

так застывает море и густеет время так падает на землю луч и можно уж его измерить и распилить...

так высыхает чашка реет чайка и мы стоим и сохнем на ветру

и только ты упрямишься высо-о-окий и нежилой маяк вот так а так вот магазин и вывеска его не светится и не видна и нас не отвлекает всё старое и покосилось и ушло но только там мы покупаем сушки мы покупали сушки чтобы через них как через трубочку тянуть чаёк но чайник йок и чашка высохла

так вымирает море и чёрное и море голубое друг в друге отражаться утомившись а мы поедем мы поедем на любое из них и будем на камнях резвиться

поехали резвились и глядели
на стёртый горизонт где в самом деле
два этих моря становясь одно
в своём слиянии
утрачивают дно
и мир скруглённый
крутится сверкая

и нам не надо никакого рая а только бы вернуться в этот тот









* * * (человек-умеющий-говорить-«ня!»)

Н., с благодарностью

...а читал бы фанфики — ничего б ему не было!.. (из разговора)

человек-умеющий-говорить-«ня!» непосредственно, неколебимо прекрасен: вы изведаете много удивительных вёсен рядом с человеком-умеющим-говорить-«ня!»

человек-умеющий-говорить-«ня!» безусловно и неизменно полезен: хоть и в медные трубы-огнь никуда не полезет (ну, без крайнего нада, по крайней мере)

но является бесперебойным источником песен непререкаемым счётчиком шума и белых сплетен беспристрастным ценителем вашего героизма с цветами, в первом ряду, в партере

..человеку-умеющему-говорить-«ня!» не страшны никакие враги, он блестит и смеётся, не цепляем ничем:

он опишет вам сладостно в фанфике кованые сапоги, коли война — почешет за ушком, заварит зелёный чай расскажет про дзен

человек-умеющий-говорить-«ня!» может вам показаться сначала немного пошлым; но когда вы вдруг ляжете, смело придавлены прошлым, подойдёт и скажет: ня, какая фигня!

..а ведь правда — фигня.

человек-умеющий-говорить-«ня!» разумеется, тоже подвержен облому и стрёму: у него нет работы, девушки, часто — местами — дома, у него бывает депра, глубиною больше напоминавшая кому и приступы идиотского смеха

разумеется, вы скажете: это не для меня

но на самом-то деле это ведь всё — хуйня.

потому что есть у него то, что намного, намного важнее: не смысл жизни, не религия, не церковь, не зарплата, не великий фюрер, не психофизические упражнения

из йоги — нет; то, что вообще не от головы

а именно: умение *улыбаться* умиляться даже, скорее вот так по-идиотски, всем телом, от печёнок до синевы —

тупое, неповоротливое, презренное а по сути — маленькая капелька необработанной любви

тёплая, как колтун в котёночьей шёрстке.

но у вас и того-то подчас не бывает в текучке дня, под проливным огнём, на изломе окна

..так что давайте, ребята не морщитесь

нам тоже не помешало бы иногда говорить «ня!»

* * * (майское дерево)

солнце, флейты, свистопляска волынки, бонги. электрички красная полумаска, столитровые рюкзаки — бегут

сандалии, измызганные сапоги шерстяные длинные юбки, венки тартаны через плечо — семь футов тебе под килтом! — прохладный лён, кленовые венки —

булыжная долгая память распахнутая в одуванчиковые венки.

Выборга кельтский крест раскинут и над заливом крылья далеки, и будто бы у нас есть выбор: электричка в пять утра (прямо в рассвет),

наверно,
Пётр — Мананнан питерский:
вплетал в косицы
городу и на виски
такой ирландской ленточки реки,

и пусть косятся!
мы — фэйри: народ пугаем, наши шаги легки,
и гитары наши легки,
в глухой мороз
врагом сожжённые не раз,
и не нужны под языки медяки
стёртых фраз, если есть у нас такое золото кос,

ещё у касс слышно: надрываются усилители звуков и запахов (первые листья и шашлыки), усилители моря и неба — ведьма Хе́ллавес, по глазам вижу: ты траванула лорда Рэндала, на костёр! скорей на большой костёр, чтобы прыгать и до костей пробирал ветер морской, из хвои, тамбуринов и мятых банок пивных,

а потом, озарены электричкою на вокзале и в тамбуре играли: девочка на пандеретте и мальчик с гитарой и длинным хайром, серьёзным панковским

видом, ну как дети, честное слово, бедного Ллира дети,

впитывая рассвет как текущее бледное олово, память одуванчиковая распахнута

в золотого моря ирландского сети, мы без билета.

* * *

..балкончики, заколоченные лоджии, а надо всем этим плывут облака

старые качели во дворе
это мир, где остановилось время
оно крутилось
на остове детской вертушки в пустом дворе
быстрее, быстрее
жадно, до хрипа дыхания
а потом у него закружилась голова
и оно упало, несказанное словами,
на спину, да так и лежит
смотрит в небо и ему хорошо
а там всё плывут, плывут облака

это новый мир, только что сотворённый пока без имён тут пока безымянна синица, которая тенькает в тех просвеченных солнцем кустах и шелковиста, как лимонад, сентябрьская тень прохладная — ложится платком на одно плечо у памятника облупленного предводителю красных трамваев в этой жизни так почти не бывает — зыбкое, колыбельное..

и где-то внутри от свежести сонных подъездов улыбчиво, невесомо и горячо

(триптих о счастье)

1

Спорили однажды с моим мэтром о счастье.

Я говорил о залитых солнцем пустых дворах, где сохнет бельё и лоджии тишиной душистой полны.

Он возражал мне об уральских чёрных хребтах, органном всплеске звёзд-лезвий-звёзд и совсем других сортах тишины.

Упрямо встряхивали волосами.

Теперь же понимаю: можно так, а можно эдак. Не вопрос. А можно быть индейской трубкой мира телефонной, проводником для голоса живого

— тоже счастье. Много ли сортов: да как мороженого, хочешь — фисташковое, или с кленовым сиропом. Очень, то есть, много.

Но есть ещё такое счастье у меня: особое, как отдел. Весеннее. Такое, с очень-очень тонкой шкуркой.

Его я тщательно ношу в карманах, плечами птичьими в ознобе поводя.

2

..Это просто когданачинаешь слышать всё плохое сквозьвсё хорошее, и наоборот.

..И расцветает нарцисс в руках застенчивой бабульки у метро, и открывают бутылку, и некто где-то режет руки, и где-то через ночь сквозную заполняются самолётные баки,

и в безмолвии, оседая, рушатся здания. И клевер цветёт.

И через тысячелетия улыбок и ухмылок усиком виноградным крик прорастает, скользкий, тоненький, как обмылок.

И ты — такой же тоненький, как он. Облатка, лакмусовая бумажка,

полурасстёгнутая рубашка.

Живот, мембрана, камертон.

3

И нарастает стон осторожный с запахом мятной жевательной резинки.

И очень удивлённо: зачем же я, с чего же — всё хорошо

ведь, мне же хорошо. Зачем же столько больно: как запахи, и ветер и сирень,

и дым полуоттаявших скамеек, и нота-соль, и бесконечный день.

И фасады парижских зданий

в центре Питера.

На расписном подносе

живое и прекрасное ничто несёт тебя как тыковку, легонько,

заваривая вечер в калебасе. Цепляясь в пыльный луч чугунным кольцом ограды, процеживая через вечность-марлю колотьё в боку,

рисует слюнкою на лбу весну.

Ты ради всех прикнопленный к бумаге. И апреля, и забытых ради —

под солнцем клетчатым на тонкой кожице тетради.

* * *

ты за красных — я за белых, как всегда гражданская война в пределах одного конкретно взятого дивана.

в итоге слушаем Вертинского, со скрипучей старой трескучей пластинки.

изразцы, Белая гвардия и прочее человеческого счастья чистые образцы, летящие в пропасть со скоростью мира мы с тобой рука об руку под томно замирающий рояль.

здесь должны быть ещё такие маленькие фарфоровые чашечки с позолотой, оббитые по краям.

..если делаться старой фотографией, станет больно и немного опиумно всё такое серое, лунное чугунное над розовым морем бутылка вина

а за окном из-под снега опять лезет зелёная трава а я во рту на языке перекатываю зелёные слова:

Сонечка, девочка, лучшая моя, запах счастья, веранда скрипучая

зима падучая упавшая навсегда.

под выстрелы, фейерверки так правдиво умирающий рояль

помнишь, наши маленькие смешные вечности оббитые по краям.





*** *** я вспоминаю...вдруг вода. мех *** *** небо небо поверхность и ничего ТЫ *** ввысь дышат блещущие строки стучу, стучу и сколько вас там? *** вода. вода. вода постоянно я вспоминаю запах...запах! *** *** все шире врата и некому их запереть вперед, вперед, но тишину не тронь *** парфянский пурпур и снова: слова постоянно прекрасны *** следы комнаты соседи вещей я тень не поднимал, но ты *** вверх с уважением, но больше собой

всё это кости бумажные

Память движется, как мелок на асфальте, рисуя нас: вперёд и обратно, снова вперёд и назад —

так рождается океан, небо с птичьим крылом в окне. Приходит и белый цвет в неподвижность лица.

Чёткость контура, яркость глаз, как и прежде бывало здесь, останутся в нас до слёз настоящей воды.

Смытый мел, удержись в себе смелой мутью немых крупиц: единственно ты — в рыдании — непобедим.

Именем Райнера заклятый насмешник мой, стань для жизни печной трубой, ты ведь внутри пустой, обложенный кирпичом: может, птица гнездо совьёт?

Я развожу огонь из старых тетрадных нот, снов, записанных кем-то для тех, кто сумеет длиться чтением, верить в знак: это, верно, уже не я.

Вот тебе копоть вместо той пустоты внутри, что впускает в себя грозу только отчасти, лишь ветреным гулом, где птица помнит свой путь едва.

Но над тобой — произнесенный спаситель мой: ты теперь обездвижен, как птичий покой, когда упала в трубу, заснув, птица из твоего гнезда.

Победа щурится, не смотрит на тебя: ты — повелитель, мог ли знать, что кто-то ей горстями пыль бросал в лицо, чтоб отвернулась от тебя.

Чтоб ты, не виден никому, стоял один. Войско уснуло на весах, не ведая, что чаши больше нет. И ты сном посмотри в свою ладонь.

В пылинке свод воздетых рук безмерен, он кажется небом, и на нём — растёрта чаша в пыль, молчит мерило о всём, что содеяно тобой.

У справедливости в руках нет ничего. Глянь же в её ладони — в них та чистота, когда стряхнули пыль, и там блеск безутешен, словно плач.

Пришедшие тебя перебирают и думают — что может целью стать? Быть может, совесть? Но на ней собраться вниманию — так сложно, и стоять

нельзя, держась за лезвие из дыма, что разъедает по ночам глаза. Тогда вот это — скомканное древо. Но лишь коснись его — оно горит.

А камень, что растёрт грудной изнанкой до говорящей пыли? Нет же, нет. И смотрят в пол, хотят уйти, но всё же надежда не даёт ходьбы ногам.

И вдруг под ноги падает листочек: он разлинован поперёк себя, на нём — рисунок: солнце, солнце, солнце. И кто пришел, теперь узнал ответ.

Продольный свет, как срез, блестит, сочится внутренним теплом: припавший рот, вбери нутро у чёрно-белой

шумящей вертикали — в ней движение земли наверх есть знак весенний.

Складная острота в руке вскрывает кожистый покров единственного дерева, в котором целы

те буквы земляных слогов, что вмёрзли в корни — но дошла до них согретость.

Глотком не утолить себя — подвязывай стекляшку под текущий алфавит, и жди, когда до края

наполнится, теперь — смотри: стекляшка есть душа, и в ней тепло до верха.

Расстояние до тебя в слова и дела, словно в шарик воздушный, дуть,

набирать через резкий вдох, похожий на всхлип; пробуждая свободу в грудь.

Как растёт повседневный быт, растянутый мной: вдруг — огромным предстанет, и

он окажется лишь — хлопком, в руке — лоскутком, тонкой ниточкой от Ничто. Но кончается — (где же вдох? — и выдохнуть нет!) — расстояние до тебя.

Замирающим вдохом я смотрю на тебя: звонкий шар улетает вверх.

Если сердце — низовье речи, вытекающей в мрак человечий, пусть я стану не мель, но брод — пусть поверивший перейдёт.

Он стоял на словах о Боге — отчего-то промокли ноги: отсыревшая голова не сдержала любви слова.

Как смыкаются речью губы! Поцелуй есть молчание, зубы заломивший прохладой дна: много волн, а река — одна.

Далеко и нельзя — до моря, утопающего в разговоре; нужен берег, и берег — вот: замолчавший спасенье рот.

Ветру Эннеады подставив, шуршит античка, в страницу заглядывает, из воды выпадая, плотичка.

Там она читает о счастье и тоже длится

недолго, приветствуя всплеск — свой единственный возглас; и злится.

Прячься серебром хладнокровным, вдали — ненастье. И я, в этом воздухе не удержавшись от влаги, несчастен.

Кап-кап-кап на умной бумаге — плотва, безумствуй, запомнив лишь фразу о том, *что* уму не увидеть и чувству.

Из многих движений тела обратимое выбирать, подвластное той отмене, не знавшей меня ...

О, ангел благой отмены, не дающийся никому, на водной заснул подушке третьего дня.

Он, видно, проспал субботу, и не в курсе, что я живу в душе, окруженной телом, вершащим дела,

в душе, не хотящей присно недействительным признавать весь свет, неизбежно белый (это ли мгла?)

Мой луч, мой жгутик говорливый у солнца вытянут нутром, на явь, для света болевую, наложен днём.

Пришедшим утром исцелённый, теперь я понял, что тебе принадлежу, и привечаю твою длину.

Сжимайся, стянутый пределом, конечность света обжимай, она — нехрупкая, но просто тверда земля.

Ступать по мягкому — не больно, но для ходьбы по облакам пока не время и не место — спасибо, день.

В доме сыплется хвоя, как лист с куста, Как плоды в саду. Не тебя, но всякого, хвалят Его уста, Но в тебя гудят, как в дуду, Якобы говорят: «Играй». И ты вспомнишь худую барышню, И гончарный круг, и ошмётки книг, И тому подобный кустарный рай, Как лепила флейты и красила их слюной. И как если бы ты был одной из них, Вспоминаешь как на духу, Что ты не был из них одной.

А он такой на голубом глазу, Как зрение, как плёнка слюдяная, Как бы Даная, Голая внизу. А сверху тоже полная луна, И полная земля её встречает, Сперва вечерняя, потом ночная, Потом совсем без дна. А он такой заутренний не виден: «Пойдём-ка, выйдем» — бьётся из груди, А мы ничем не выйдем. Погляди, Свет звездяной и свет фонарный Мешаются, неотличимы, Деревья сбросили личины И покрываются листвой — На то имеются причины Над головой.

Посередине города стоит Ларёк, киоск, райская палатка, И тает ослепительно и сладко Прозрачный свет, и делит на своих

И не своих всех мимо проходящих, всех стоящих. Вот, погляди, как, опершись на ящик, Я застываю, точно сталактит. Я думаю о чём-то, и спроси Меня о чём-то, точно не отвечу, Поскольку вся в себе, а снег и свет навстречу Друг другу тают у проезжей полосы.

Полные лампы света дневного, Света ночного полные фонари Иссякают наружу, но снова Сами собой наполняются изнутри. Женина жизнь, полная дня, и ночи, И наступившего утра другого дня, Тоже сама собой заполняется, но не очень Выгодно, а подчас вообще ни на что не годна. Шерстяная варежка для пятипалой лапки Вряд ли уже защита, но всё-таки что-нибудь. Какие-то оба у передвижной палатки Остановились, курят, и снова в путь. Спальный район петляет меж окнами и фонарями, Жидким и клейким светом наполнены те и те, Нетерпеливыми окриками, короткими очередями, Набранными очками, зрением в темноте.

Дверь на улицу отворится прежде, чем скрипнуть в дом, Пусть подъезд — не жилище, но всё-таки там теплей, Чем в населённом пункте, под вечер совсем пустом, Где население сами себя согрей. Самозванец придумал имя и называет им И себя, и плоть свою, но душа ускользает из дырки рта, А мы придумали наше время и по нему скользим, А вокруг какая-то вечность и мерзлота. Согревай и ты короткими выдохами насквозь. За спиной дыхание — даже уже не пар. А то ещё так бывает — какая-то ветка заденет вскользь, И ошарашено смотришь, куда попал.

Каждый день уходили в медину,
Которая с маленькой буквы,
Ради этого море бросали,
Песок отрясали.
Здесь такие, гляди, неЗнакомые буквы
Под пиратскими якобы парусами.
Набирали пригоршни, но разве удержишь в горсти
Незнакомого круглого мира пустые, простые дела?
Посмотреть, а потом хоть трава не расти.
Но она там и так не росла.

Неправда, в горле кости нет, Ни позвонка нет, ни мембраны, Которая бы задержала снедь, Которая бы задержала смерть, А мы и рады.

Глоток и вдох мне равно душу травят, Как плоть любовь язвит, Как взгляд глаза буравит. Печальный воздух детских фотографий, Лети на свет, как прерафаэлит.

Если долго читать лёжа,
Что увидишь там, на потолке?
По раскалённому нёбу спускается кожа,
Как по руке.
Если долго ходить по комнате,
За картонные стены не выйдет моя душа,
Но плоть моя выйдет вся,
Когда её, точно хлеб кроша,
Кое-кто уберёт в себя.
Не боюсь ничего: ни души, ни хлеба,
Ни тёмного ночника.
Пустеет мягкая ямка моего ночлега
И лежащая в ней щека.

И тебе приснится школьная раздевалка,
И тебе приснится школьная раздевалка,
Потому что ты так и не вышел в люди,
А ты далеко пошёл.
Разбитая лампочка, тётка в синем халате.
Хорошо, если тётка. Или нехорошо?
И тебе приснится, и останется радужкой на сетчатке,
Или как там ещё говорил окулист
В поликлинике, пока ты надевал перчатки,
И сопел, и смотрел обречённо вниз?
Но за эти пятнадцать лет повсюду прошло полвека,
Даже в этом углу, даже в самом углу угла
Теперь перекрёсток нового света
И старого вытертого тепла.

От речного вокзала до просто вокзала
Ты не то сказала —
Не подать рукой.
Небо красное в полнакала
И синее над рекой.
А наш город Город и река Река
Распустились под самые облака;
Ничего банальней,
Ничего живей —
На дороге дальней
Пьёт из лужицы воробей.









уточни а то ничего не понял
так ли любо тебе одному
ничего не ладится кроме кроме
тех потешек которые никому
не знакомы еще и не станет ясно
пыль полезна вода горька
смерть прекрасна пристрастна и деепричастна
всем кто отведал материнского молока
уточни и я больше не стану тревожить душу
я молчания не нарушу
только встану стеной за твоей спиной
даже если никто и не станет лучше
так любить всех сильней и горше
и зимой и летом и осенью и весной

[…]

В. Б.

Марта и Мартин были знакомы с детства. Отец Марты был эмигрантом, его звали Мишей, но это уже не имеет значения. Марта и Мартин не писали на стенах свои имена: они были знакомы с детства, но жили в другой стране.

У родителей Мартина была квартира с балконом; герань, красная, менструальная, росла, отражаясь в стекле, он её и выхаживал. Знал про её семена.

Мартин работал кладовщиком. Марта продавала цветы. Кое-как сводили концы с концами. Южная Германия, точнее, Бавария.

Мартин упрекал Марту в недостатке образования и говорил про её родителей, точнее — «ты — полукровка, не понимаешь».

Так они завели кота. Вернее, кошку.

Мартин нашёл её на дороге, у автобусной остановки: она дрожала от холода в телефонной будке. Редкий для тех времён падал снег, медленный, бестолковый, назавтра таял.

Марта болела, укрывалась тремя одеялами: — Это твоё, оно — живое, — шептала Марта: Мартин ей был не первым.

Во сне она видела кошку, умирающую на руках у Мартина, у неё умирающую на руках.

«Кто ты вообще такая?» — спрашивал Мартин, выгоняя Марту из рая.

«Никто», — соглашалась Марта. Мартин ей был не первым.

Раннее утро в Южной Баварии.

Марта одета в шубку, искусственный мех. Автобус не ходит в Мюнхен. Кошку звали Аглая.

Как это можно вытерпеть? – первому снится, Будто он спрашивает кого-то. Жалят осы, падают камни, загораются листья. Темно вокруг, дороги не видно.

Ему отвечает кто-то: вот женщина, у нее тонкие руки, Серые глаза, она ходит легко, как падает снег, Говорит как поет и спит как летает. Посмотри на нее.

Как это можно вынести? – снится второму, Будто он спрашивает кого-то. Рыболовные крючки застревают в коже, режут ножи. Впереди ничего нет.

Ему отвечает кто-то: вот лес, огромный и тихий, Внутри его семенят мелкие животные, Топают крупные животные, он шевелит ветвями, Как женщина руками, он дышит, он есть, Посмотри на него.

Как это можно пережить? — снится третьему, Будто он спрашивает кого-то. Не сдвинуться с места, кругом пропажа, Ничего никогда как раньше, темно и страшно.

Ему отвечает кто-то: вот небо, полное жизни облаков, Самолетов, мелких зверей, крупных зверей, Летающих дураков Посмотри на него

Просто смотри вокруг, не спрашивай ничего

Фаина Гримберг

Поэт, прозаик, переводчик. Родилась в 1951 г. в Москве. Стихотворения публиковались в альманахах «Вавилон» и «Авторник», в сборнике «Самое выгодное занятие» (по следам X Московского фестиваля верлибра), в журналах «Воздух» и «Новая реальность». Книги стихотворений: «Зелёная ткачиха» (1993), «Любовная Андреева хрестоматия» (2002), несколько десятков романов и популярных книг по истории. Живёт в Москве.

Алла Горбунова

Поэт. Родилась в 1985 г. Окончила философский факультет Санкт-Петербургского университета. Стихотворения публиковались в журналах «Новый мир», «День и ночь», «Дети Ра». Лауреат премии «Дебют» (2005). Книга стихов: «Первая любовь, мать Ада» (М.: АРГО-РИСК, 2008). Живёт в Санкт-Петербурге.

Екатерина Горлина

Художник. Родилась в 1987 г. в г. Железнодорожном. Участник ряда выставок в Москве и Московской области.

Страница на сайте «Полутона» http://polutona.ru/?show=eg

Юлия Тишковская

Поэт. Родилась и выросла в Санкт-Петербурге, окончила Педагогический университет им. А. И. Герцена. Публиковалась в журналах «Вестник молодой литературы», «Вавилон», «Reflect» и «РЕЦ», в сборнике «РЦЫ: ВНУТРИ» (2007). Книга стихотворений: «Дальше зрения» (2005). Живёт в Москве.

Екатерина Завершнева

Поэт, прозаик. Родилась в 1971 г. Живет в Москве. В 1996 г. закончила факультет психологии МГУ, канд. психол. наук, автор тридцати научных работ на стыке философии и психологии. Преподает в высшей школе. Публикации в журналах «Новое литературное обозрение», «Вопросы психологии», «Вестник МГУ» и др., а также в интернете («TextOnly», «Рец», «Reflect»). Автор книги «Сомнамбула» (С.-Пб.: ЛимбусПресс, 2009) и сборника стихотворений «Над морем» (М.: изд-во Р. Элинина).

Павел Настин

Родился в 1972 году в Калининграде, где и живет. Поэт, фотограф, независимый куратор (сообщество «Полутона», фестиваль «СЛОWWWO», журнал «РЕЦ», программа «Черная курица»). Участник арт-группы «РЦЫ». Публикации: интернет, журнал «Воздух», «Новый берег» и др. Книги стихов: «Язык жестов» (М.: О.Г.И., 2005); «РЦЫ: ВНУТРИ» (Калининград: 2007, сборник арт-группы «РЦЫ»).

Сергей Чегра

Поэт. Родился в 1980 г. в Москве. Стихотворения публиковались в журналах «РЕЦ», «Новая юность», «Современная поэзия», «Новая реальность» и «Альтернация», в Альманахе и Временнике (2004-2006) Новой Камеры Хранения, на сайтах «Молодая русская литература» и «Полутона» (http://polutona.ru/?show=chegra). Стихи переведены на украинский язык.

Кира Фрегер

Поэт, фотограф. Родилась в 1975 г. во Владивостоке. Участник Майского фестиваля новых поэтов в Санкт-Петербурге. Живёт в Москве.

Алексей Афонин

Поэт. Родился в 1990 г. Стихотворения публиковались на сайте "Новая литературная карта России", в журнале "TextOnly". Живёт в Санкт-Петербурге.

Гали-Дана Зингер

Поэт и переводчик (русской литературы на иврит, израильской – на русский). Родилась в Ленинграде. С 1988 года живет в Иерусалиме. Редактор сетевого журнала «Двоеточие» (http://polutona.ru/index.php?show=dvoetochie). Автор четырёх книг стихов на русском языке и трёх книг на иврите. Русские стихи публиковались также в журналах «22», «Солнечное сплетение», «Стетоскоп», «Камера хранения», «Арион», «Знамя», «Воздух» и др., а также в антологии «Освобождённый Улисс». Лауреат ряда израильских литературных премий.

Игорь Бобырев

Поэт. Родился в 1985 г. в Донецке, 1989 -1991 гг. жил в Будапеште. Окончил исторический факультет Донецкого национального университета. Публикации стихов в журналах "Арион", "Волга-ХХІ век", "Новая Юность", "Новые облака" (Тарту), "REFLECT... КУАДУСЕШЩТ" (Чикаго) и Интернете ("Молодая русская литература", "Полутона"). Книга стихов "Соловей недоступен".

Алексей Порвин

Поэт. Родился в 1982 г. в Ленинграде. Стихотворения публиковались в журналах «Воздух», «Нева», «Волга», в Интернет-журнале TextOnly, на сайте "Полутона". Постоянный автор сайта «Новая Камера Хранения». Участник 7-го Майского фестиваля новых поэтов (2008). Автор книги «Темнота бела» (М., «Арго-Риск», 2009). Живёт в Санкт-Петербурге.

Юлия Сопина

Художник. Родилась в 1968 г. в Ленинграде. Окончила ЛХУ им. В.А.Серова (интерьер). Член Санкт-Петербургского творческого союза художников IFA. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Участник проекта «Безнадежные живописцы». Восемь персональных выставок в Санкт-Петербурге. Номинант петербургской премии «Лучший художник года» (2008), дипломант Ежегодной выставки Петербургских художников «Петербург 2008». Картины хранятся в Государственном музее «Царскосельская коллекция» (С.-Петербург, г. Пушкин).

Страница на сайте "Полутона" http://polutona.ru/?show=sopina

Евгения Риц

Поэт. Родилась в Горьком (сейчас – Нижний Новгород). Живёт в Нижнем Новгороде. Окончила филологический факультет Нижегородского государственного педагогического университета. Кандидат философских наук. В настоящее время работает преподавателем вуза. Участник литературно-художественного Интернет-сообщества «Полутона». Книги стихов «Возвращаясь к лёгкости» (М.: О.Г.И., 2005) и «Город большой. Голова болит» (М.: АРГО-РИСК, Книжное обозрение, 2007). Публикации – в журналах «Октябрь», «Воздух», «Рец», альманахе «Вавилон». Стихи переводились на украинский и английский языки.

Данил Файзов

Поэт. Родился в 1978 году в городе Игарка Красноярского края. С 6 лет жил в Вологде, с 20 — в Москве. Окончил Литературный институт (семинар Татьяны Бек и Сергея Чупринина). Книга стихов «Переводные картинки» (М.: АРГО-РИСК, Книжное обозрение, 2007). Стихи публиковались в журналах «Арион», «Знамя», «Рец», «Новый мир», в Альманахе Новой Камеры Хранения, на сайте «Полутона». В 2004 году совместно с Юрием Цветковым создал Проект «Культурная инициатива», занимающийся организацией литературных программ на различных московских площадках.

Ирина Максимова

Поэт. Родилась в Риге в 1980 г., окончила психолого-педагогическое отделение Пушкинского лицея г. Риги. С 2002 г. живёт в Калининграде. Участник арт-группы «РЦЫ». Лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Поэзия» (2005). Публикации в журналах «Арс», «Рец», «REFLECT... КУАДУСЕШЩ», «Девятый сфинкс», «TextOnly», «Воздух», в антологиях «Молодые голоса» и «Солнечное сплетение» (Калининград), на сайте «Полутона», в сборнике «РЦЫ: ВНУТРИ».

Книга стихотворений и прозаических миниатюр «Баблгамы обратно» (2005).

Анастасия Афанасьева

Поэт. Родилась в 1982 г. Окончила Харьковский медицинский университет, врач-психиатр. Публикации в журнале «Воздух», альманахах «Вавилон» и «©оюз писателей», в Интернете. Выступала также с прозой non-fiction и со статьями о современной поэзии. Лауреат «Русской премии» (2007), премий «ЛитератуРРентген» (2007) и «РЕЦ» (2005); финалист премии «Дебют» (2003). Книги стихов «Бедные белые люди» (М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2005), «Голоса говорят» (М.: Европа, 2007), перевод (совм. с Д. Кузьминым) книги стихов Олега Коцарева «Стечение обстоятельств под Яготиным» (М.: АРГО-РИСК, 2009) и другие переводы с украинского. Живет в Харькове.